

Ангел Гофман и другие. Мерче

Про книгу

Автор популярний у Мережі під псевдонімом Мерче. Вона як тонкий митець відкриває нам те, що у всіх перед очима: «російські» й «марокканські» квартали Ізраїля, вулочки й закутки Києва. Люди, що розмовляють українською, російською, вірменською, іспанською й ідіш. Її замальовки незвичайні за силою сплетіння ліризму, чуттєвості, знання життя, гіркої іронії та музики. Ця книга не випустить вас із обіймів, поки ви не дочитаєте її до кінця.

АНТЕЛ ТОФМАН И ДРУГИЕ

МЕРЧЕ

Ангел Тофман
Рыбный четверг
Пепел красной коровы
Ляля и Бенджамин
Ханночка
Тородокой романо
Беги, Франя, беги...
Кармен с Прорезной
Латпа



«Костя Тофман был гений.

Из тех, кто, сидя на горшке, декламирует
Есенина, перемножает в уме трёхзначные числа
и повергает воспитателей в восторженное, подчас
гневное недоумение»



Аннотация

Автор популярен в Сети под псевдонимом Мерче. Она как тонкий художник открывает нам то, что у всех перед глазами: «русские» и «марокканские» кварталы Израиля, улочки и закоулки Киева. Люди, говорящие на украинском, русском, армянском, испанском, иврите и идиш.

Ее зарисовки необыкновенны по силе сплетения лиризма, чувственности, знания жизни, горькой иронии и музыки. Эта книга не выпустит вас из объятий, пока вы ее не дочитаете до конца.

ISBN 978-966-8838-33-0

АНГЕЛ ГОФМАН И ДРУГИЕ

Доктору Якобу Кораху,
моим родителям,
моей тете Ляле,
Эрику,
сыну Даниэлю,
Миле Розен,
Ирине Гончаровой,
Любочке Журавлевой,
Михаилу Горевичу,
профессору Жарикову Жене (покойному),
всем моим многочисленным друзьям, без которых бы это не состоялось

Мерче. Сопричастность к вечному

Самое сложное в литературе — создать свой Мир. Когда это удается, мы говорим, что писатель состоялся и даже стал классиком. Мир Достоевского и Толстого, Пришвина и Бунина, Куприна и Набокова. Миры Стругацких и Герберта, Айзимова, Желязны и Шекли... Писатель, выступающий в сети Интернет под псевдонимом «Мерче» (Каринэ Арутюнова), несомненно, тоже создала свой мир и живет в нем. Здесь все очень узнаваемо, знакомо — и в то же время индивидуально. Принадлежит только автору, но легко, незаметно, безо всякого душевного напряжения становится и читательским миром.

Мерче работает в разных жанрах. Она пишет прозу, стихотворения в прозе и просто стихи. У Мерче есть свой стиль. Он запоминается. Если будешь читать текст без подписи автора, скажешь — да ведь это она, Мерче! Да и кто еще пишет такими широкими мазками, укладывая иную миниатюру в две фразы? Кто еще умеет, стежок за стежком выкладывая нить, раскрашивать мир всеми красами Бытия?

Когда читаешь Мерче, кружишься в ассоциативном ряду, который то расширяется в ритме текста, то сужается, то становится единственным. Гарсиа Лорка и Маркес, Шолом Алейхем и Бабель, Юнна Мориц, Марсель Пруст и Достоевский. То вдруг вспоминаешь картины из потрясающего фильма «Куда приводят мечты» — и снова оказываешься в тексте Мерче, понимая, что художник — не профессия, а духовное призвание. Что художнику открыт канал связи с Небом и надо только успевать улавливать идущие оттуда ассоциации и укладывать их в строки, нотные линейки или холсты.

В ее текстах не раз упоминается то скрипка, то виолончель. Тексты, выставленные на Национальном сервере современной прозы, прочитаны. Думаю, если бы я увидел созданные ею картины или услышал, как она играет, осталось такое же полное ощущение вдохновенного полета и сопричастности к Вечному...

И еще, читая Мерче, вспоминается, что говорили, и не раз, нынешние критики и издатели, говорили, в том числе и мне: «Сейчас так не пишут. Это не будет пользоваться коммерческим успехом».

Желаю талантливой Мерче дождаться времен, когда настоящая, потому что не коммерческая, литература будет востребована, и издатели станут оспаривать друг у друга право на публикацию ее произведений.

Виктор Вайнерман,

профессор Российской академии естествознания,
заслуженный работник культуры РФ, член союза писателей.

От автора

Нужно написать аннотацию к книге, которая выйдет вот-вот, а я медлю... Нужно как-то непринужденно, умело, в двух-трех словах, обратиться к неизвестному мне потенциальному читателю, — возможно, даже попробовать убедить его в том, что эта штука, которую он держит в руках, — стоящая, не подкачает, этакая славная штука, — попробуйте-ка в двух-трех словечках рассказать о своем ребенке, — это НЕВОЗМОЖНО, — это вначале кулачок крохотный сжатый, а после — пальчики — горошинки, и разрез глаз, и совершенство этой вот складки, и пуговка носа, — а как он писает, Боже, ведь это невозможно красиво, — а когда сосет — райское блаженство, — а вот и зубки, — а вот тут он насупился, а здесь — обернулся, помощи ждет, и бровки домиком, а когда смеется — зубки как сахарок, голову запрокидывает, а когда рыдает, то навзрыд...

Я ведь вообще говорить не люблю. Пантомима — это мое. Клоунада. Марсель Марсо. Енгибаров. Это мое детство. Чаплин. Слепая цветочница. Музыка должна быть. Руки, спина. И глаза. А дальше — все ясно. Потому — откровений не будет. То есть, будут, конечно, но они — в паузах, в музыкальных фразах, от крещендо до пианиссимо, и глаза. Обязательно глаза. Ведь не будете же вы всерьез объяснять, отчего у вас болит сердце, или, напротив, отчего вы летаете? Лучше просто приложить ладонь к груди или взмахнуть руками. Пожалуй, так.

В поисках розовой ящерицы

Время желаний

Вот и август пришел. Время подтекающих кондиционеров, — мокрых подмышек, оплывающих от зноя лиц, шаркающих по асфальту ног, промелькнувшей розовой ящерицы в трещине стены, — вот и август пришел, месяц безудержных совокуплений и незапланированных зачатий, время стекающего по подбородку дынного сока и вязкого ночного томления...

Однажды ты пронесешься мимо собственной станции, удивленно провожая взглядом стремительно сужающееся пространство, — и выпорхнешь наружу из битком набитого вагона — нога неуверенно ступит на перрон — дверь с грохотом сомкнется, — твое настоящее промелькнет вращающимся калейдоскопом, — лиц, впечатанных в толстое стекло, — и тут же станет прошлым, — прижимая ладонь ко взмокшему лбу, попытаешься вспомнить год и число, место и время, но тут же махнешь рукой, — бесполезное занятие, — нет такого числа и нет такого года, а вот, пожалуй, — прохлада мраморной стены и блестящее девчоночье колено из-за колонны — с туго натянутым шелком юной кожи — и чьи-то смелеющие пальцы, — раздвигающие влажные прядки волос, — и след от купальника на обожженном плече, — и черный провал тоннеля, — и ветерок забвения, — и чей-то подол, взметнувшийся у самого края, — и медленно ползущая лента, — с отпечатками ладоней и пальцев, подошв и скользящих рассеянно взглядов.

Увертываясь от настигающей тяжелой двери, подденешь носком пивную бутылку, — свернешь в прохладный скверик, пугающе безлюдный и безмолвный, — ты будешь осторожными

шагами продвигаться вглубь, узнавая, не желая понимать, принимать, не в силах отвести взгляда от ряда пятиэтажек с распахнутыми окнами, — в воскресный день, в зной, — от сонных женщин с колясками, от странной таблички — ПИВО СОКИ ВОДЫ, — от детских пальцев, обхвативших стакан томатного сока, — от семечковой шелухи вокруг скамеек, от вереницы старушек со сложенными на животах руками и распухшими щиколотками, — втянув голову в плечи, под их настороженно — любопытными взглядами, нырнешь в сырую тьму подъезда, — споткнувшись в том самом месте, — о знакомую щербинку в ступеньке, — вздрогнув от ноющей боли в разбитом колене, от расплзающегося пятна зелени по содранной кожице, от целительного дуновения из чьих-то губ, сложенных трубочкой...

Запахи адских борщей с натертой чесноком корочкой черного хлеба, шкварчащих на сковороде рыбешек, — до хруста, до головокружения, — сглотнешь слюну и переведешь дыхание у двери с перевернутой циферкой — восемнадцать — и вдавленной кнопкой звонка, — пальцы без труда дотянутся до нее, и это озадачит тебя.

Дверь распахнется сама, — в тесную прихожую с вешалкой, с сеткой от комаров на окне, с краем цветной клеенки кухонного стола, с торшером, этажеркой, с раскрытой книжкой, — на том самом месте, с загнутым уголком страницы, — машинально протянув руку за яблоком, ты сядешь у окна, на диван, сбросив обувь, поджав под себя ноги, — это будет месяц август, самый настоящий, с обжигаящим язык и губы кукурузным початком, щедро усыпанным солью...

Наслаждаясь внезапной свободой, ты дочитаешь книгу до конца и, улыбаясь, — поставишь ее на место, — по потолку пробежит розовая ящерица, мелькнет хвостом и исчезнет в глубокой трещине на стене.

Впрочем, — это будет совсем другая история.

О неуловимой розовой ящерице, поселившейся за буфетом и разгуливающей по ночам.

Об этом — в другой раз.



Черно-белое кино

Дочь аптекаря Гольдберга

По одним документам Муся Гольдберг была расстреляна во владимирской «крытке» седьмого апреля 1939 года, и нет нужды пересказывать, отчего голубоглазый аптекарь Эфраим Яковлевич Гольдберг умер прямо на улице от внезапной остановки сердца, — вскрикнув коротко и глухо, он неловко повалился вбок, — скорее, обвалился, как неустойчивый картонный домик, — никто так и не узнал, какое странное видение посетило Эфраима Яковлевича в этот день, повесенному сырой и ветреный, — эту тайну маленький аптекарь унес в могилу, вырытую мрачным дождливым утром тремя круглоголовыми брахицефалами, — некрасивую девочку, стоящую босыми ножками на цементном полу, в сползающей с худого плеча бумазейной рубашечке, — с тем обычным плаксивым выражением, с которым восьмилетняя Муся пила железо и рыбий жир и подставляла покрытый испариной лоб, — уже падая аптекарь Гольдберг успел содрогнуться от жалости, — ножки, Муся, ножки, — и жалость эта оказалась столь необычных размеров, что просто не уместилась во впалой аптекарской груди.

По другим источникам — седьмого апреля 1939 года расстреляна была вовсе не Муся, а другая девушка, возможно тоже с фамилией Гольдберг, — а сама Муся вернулась в свой дом, постаревший на много лет, помаргивающий подслеповатыми окнами и заселенный незнакомыми людьми.

Из полуоткрытых дверей выплывали желтоватые пятна лиц, похожие на песьи и лисьи морды, — со скошенными лбами, мелкозубые, — вам кого? — Гольдбергов? — Фима, там Гольдбергов каких-то, — нет, не живут, — и только старуха Левинских, озираясь по сторонам, прошелестела в Мусино ухо, — гоим, гоим, уходи... — и Муся в страхе отшатнулась — сквозь мутную пелену белесоватых глаз проглядывало вполне осмысленное, даже хитроватое выражение, — крошечная голова была плотно ввинчена в туловище, — мелкими шажками старуха продвигалась вдоль стены, напоминая медленно ползущую жирную гусеницу.

Мусина улыбка по-прежнему была ослепительной, хоть и поблескивала металлом, — за долгие годы Муся научилась держать удар и вовремя уворачиваться; даже в сползающих чулках и старом пальто дочь рыжего аптекаря все еще производила некоторое впечатление на утомленных нескончаемым человеческим конвейером мужчин, — ее сипловатый голос завораживал, а небольшая картавинка только усиливала очарование, — в пыльном кабинете, сидя перед настороженным лысоватым человечком Муся нервно закурила, и человечку ничего не оставалось как придвинуть пепельницу, а после — закурить самому, подавляя странное волнение и дрожь в пальцах.

Следствием этой беседы в прокуренном кабинете стал выписанный ордер на желтоватом клочке бумаги, и новая жизнь, правда, Муся так и не научилась варить борщи и другие национальные блюда для человечка в расшитой косоворотке, — ужинали они скудно, по-холостяцки, чаще молча, — пока молодая жена с хриплым смешком не гасила окурок в переполненной пепельнице, и тогда большая кровать с никелированными шишечками прогибалась под двумя телами с протяжным вздохом; после небольшой увертюры и не всегда

удачного завершающего аккорда к звуку громко тикающих ходиков прибавлялся негромкий храп с тоненьким присвистом, — Муся удивленно примеряла на себя эту чужую размеренную жизнь, — может быть, ей даже казалось, что она счастлива.

— Ёня, лисапед, Ёня — два круглоголовых пацаненка в матросских костюмчиках, обгоняя друг друга на новеньких велосипедах, несутся по проспекту Славы среди трепещущих на ветру знамен, — примерно так выглядело счастье маленького человечка в косоворотке, о котором, впрочем, он никогда не говорил, — только по вечерам, в выходные, после стопки беленькой и блюда жареной картошки неясная картинка оформлялась во что-то почти осязаемое, — за стенкой слева гундосила пьяненькая соседка, а из комнаты напротив заходилась в надсадном кашле Герой Советского Союза, — Рымма, Рымма, — он выкатывался в коридор, — в накинутом на голый торс пиджаке с болтающимися орденами, — отталкиваясь сильными руками от пола, наворачивал круги, производя много шума, давясь и захлебываясь жесткими слезами, — Рымма, — на шее его двигался острый кадык, но Рымма была далеко, в какой-то другой жизни, похожей на парад весело марширующих мужчин и женщин, — левой-правой-левой-правой — с ясными лицами, — левой-правой, — левой-правой — ну, Колян, давай, — в разжатые зубы вливалась еще стопка, и еще одна, — и круги становились не такими острыми, — обхватив подушку в нечистой наволочке, Герой Советского Союза забывался до самого утра, и снились ему новые хромовые сапоги, и веселые девушки на танцплощадке, и среди них — его Рымма, в раздувающимся крепдешине, со смуглыми коленками и блядской ухмылкой, — сука она, твоя Рымма, — чьи-то губы вплотную придвигались к его уху, — обдавая ржавым перегаром, и тут уже деваться было некуда, — надо было просто жить, и прикупить на вечер, и стрельнуть папироску, а если

повезет, разжиться маслом у соседей и сварганить яишенку из четырех яиц.

Близняшки на красных велосипедах продолжали весело мчаться наперегонки, но видение становилось все более размытым, — они уже не неслись навстречу в раскинутые руки, а нерешительно останавливались на полпути, и тогда маленький лысоватый человечек доставал аккордеон, и влажной тряпочкой смахивал пылинки, — застывшая у окна Муся закидывала руки за рыжую голову, — Рымма, Рымма — странно, голос был почти детский, с петушиными переливами, а за окном плакал майский вечер, и шуршал по крыше мелкий дождь, аккордеон стоял в углу и время от времени сквозь звенящую тишину пробивался тоненький плач, — не женский, а мужской, — у маленького человечка был высокий, неожиданно высокий голос, и крепкое нестарое еще тело, и ласковые маленькие руки, но его женщина куда-то уходила, она все время уходила от него, — хоть и была рядом.

Хоронили маленького человечка торжественно, было много венков, и музыка, все как положено, и влажные комья земли легко поддавались, — у идущих за гробом товарищей были красные обветренные лица, за столом не чокались, но заметно повеселели, и непонятно откуда взявшиеся женщины в повязанных платочках вносили еду, крупно порезанную сельдь, и громадные пирожки, кажется, с ливером и капустой; Муся молча сидела за столом, — вы кушайте, что вы не кушаете, — чья-то рука подкладывала ей винегрет и серые ломти хлеба, — надо кушать, — лицо женщины напротив расплывалось блином, — головы раскачивались, звенела посуда, — долго еще пили и ели, а расходились шумно, как со свадьбы, и галдели на лестнице, — мужчины в распахнутых пиджаках, возбужденные, хмельные, и их жены, с высокими прическами под повязанными газовыми косыночками.

Наутро Муся обнаружила себя у газовой плиты, — она чиркала спичками, — одну за другой, быстро-быстро, — они ломались и крошились в ее руках, — она натыкалась на столы, хватала чайник и удивленно смотрела на льющуюся воду, — какие-то люди входили, спрашивали, трясли ее за плечи, — но Муся смотрела мимо, — у стены, выкрашенной ядовито-зеленой масляной краской, стоял ее отец, маленький аптекарь, Эфраим Яковлевич Гольдберг, — прижав ладонь к груди, — он молча смотрел на нее, — тихо, папа, — ей мешали все эти странные люди, — ей хотелось услышать знакомый голос, — Мусенька, мейделе, — но отец только молча стоял у стены, и рыжие волоски поблескивали на его пальцах, и Муся не могла сдвинуться с места.

С тех пор отец часто приходил к ней, и даже присаживался на краешек незаправленной кровати, — Муся совсем опустилась, — волосы стали тусклыми, на руках появилось много незаживающих болячек, — она с трудом доживала до вечера, слоняясь по неприбранной комнате, а потом долго сидела в темноте и смотрела на дверь, и все повторялась, — отец и дочь, смеясь и соприкасаясь руками, рассказывали друг другу странные истории, — из комнаты доносился счастливый смех, — а утром все возвращалось на круги своя, — спички, чайник, вода, спички.

* * *

По странному стечению обстоятельств жизнь моя пересеклась с Мусиной в салоне авиалайнера компании «Эль-Аль», — седую женщину с документами на имя Марии Эфраимовны Гольдберг сопровождали две немолодые сиделки, — вполголоса они переговаривались о чем-то за моей спиной,

время от времени хватая разбушевавшуюся старуху за тощие руки, — с разительным упорством обтянутые крапчатой кожей кисти появлялись по обеим сторонам моего кресла, не давая насладиться первым путешествием в страну «молока и меда»; мой первый сохнутовский паек был проглочен наспех и долго стоял комом в горле, — а за спиной моей на каком-то птичьем языке чирикала маленькая седовласая девочка с плаксивым лицом; мне хотелось рвануть на себя наглухо задраенное окошко и оказаться где-нибудь на Крите, но самолет благополучно долетел до места назначения, потому что история Муси Гольдберг должна была завершиться на земле предков, — в глухом ближневосточном городишке на севере страны, среди таких же как она плаксивых мальчиков и девочек ее года рождения, — так было записано в одной таинственной Книге, которой никто никогда не видел, — уверена, там есть и мое имя, — может, именно вам посчастливится найти его, как знать, как знать, — куда бы не вели следы, они приведут вас туда, где вы должны оказаться, — и никто не сможет встать на вашем пути.

Ангел Гофман

Костя Гофман был гений. Из тех, кто сидя на горшке, декламирует Есенина, перемножает в уме трехзначные числа и повергает воспитателей в восторженное, подчас гневное недоумение.

Даже со спущенными штанами Костя казался сущим ангелом, — с ясными глазами пророка и брызгами коричневых крапинок на птичьем носу.

Няня Поля, выхватывая из-под Костиковой попы горшок, покачивала головой, — всех давно разобрали, и только эти двое, мечтательный Костик и насупленная скуластая девочка, похожая на стрекозу, скучали за низким столом, — девочку звали Лена Зеленая, она сидела с оттопыренными щеками и ожидала спасения, но мама не шла, а за окном хмурился зимний вечер 1969 года, с красными валенками в галошах, черно-белым «Волховом» и елочным базаром напротив гастронома. На тарелке лежал остывший ком каши, и Костя деликатно не смотрел в его сторону, — он уже знал такие слова, как совещание, срочный вызов, диссертация, ученый совет и плакать ему было стыдно, но стоило няне Поле положить горячую ладонь на его макушку, две слезинки тут же скатывались по щекам прямо в тарелку. Девочка Лена заморгала часто-часто и с шумом втянула воздух, — она боялась, что Костю заберут раньше, и она останется одна, последняя, — незабранная, — няня Поля не в счет, — тю, сказала няня, — ну шо за наказание такое, — сиди тут з вами як дурна, — она сняла косынку, халат и тут же стала какой-то почти чужой тетенькой с дулей на голове, — похоже, свет горел только в их группе, — еще минут десять Костик помогал сдвигать столы и стулья,

беспокойно оглядываясь на дверь, — нанизав толстое обручальное кольцо на распухший от воды палец, няня Поля втискивала полную лодыжку в бот, — она ворчала и пыхтела, и уши ее горели малиновым, — а моя мама раньше придет, — похожая на стрекозу Лена Зеленая показала язык и скосила глаза к переносице.

У вошедшей в кабинет женщины опущены тонкие плечи и скорбная складка у губ, еще совсем свежая, — складка появилась недавно, — движения чуть замедленны, — она кивает головой и уходит за ширму, — доктор Гофман всегда корректен, — в подобных случаях лучше быть отстраненным, даже бесстрастным, — тщательно вымывая кисти рук, он пытается вспомнить, где и когда он видел эти высокие скулы и прозрачные испуганные глаза, — за дверью томятся женщины, — молодые и не очень, — они ждут его, Костю Гофмана, и молятся на него как на Бога, — доктор Гофман, — глаза их загораются надеждой и тут же гаснут, — где и когда, — они подкрашивают губы перед обходом и стыдливо одергивают рубашки, — эта, новенькая, придет в понедельник, — в понедельник она будет здесь ровно в восемь и займет место у окна, — кажется, оно уже свободно, — без очков доктор Гофман похож на растерянного мальчика с едва заметными крапинками на лысине и на носу, — перед сном он листает растрепанный томик Бродского, — где и когда, пытается вспомнить он, — с утра бассейн, совещание, ученый совет, — во сне он увидит толстую женщину с ведром и дулей на голове, а еще — похожую на стрекозу девочку с оттопыренными щеками, и зимний вечер в далекой стране, с ароматом хвои и манной каши, сваренной на цельном молоке, — уже в дверях девочка обернется и покажет язык, — Лена Зеленая, — улыбнется Костя Гофман во сне и перевернется на другой бок, — до понедельника целых два дня, — мы еще повоюем, Лена...

Рыбный четверг

По четвергам Красюки жарили рыбу, — густое чадное облако расплзлось по коридору, — от него пощипывало в глазах и в носу. Запахивая лоснящиеся отвороты халата — бумазейного, в цветочках, на неподъемной груди, Красючка стояла у плиты, сосредоточенно помешивая в чугунной сковороде, — щеки ее пылали, — по шее стекали янтарные бисеринки пота, — иногда сзади на цыпочках подкрадывался сам Петро Красюк и, скалясь в золотозубой улыбке, стремительно обхватывал женину грудь тяжелыми лапами, — Красючка же, в зависимости от настроения, могла игриво вильнуть бедром и шлепнуть смельчака по руке, а могла угрожающе приподнять бровь и, живо развернувшись всем корпусом, лягнуть круглым коленом, перехваченным чуть выше тугой резинкой чулка.

— Нюся, золотко, сладкая, — Красюк чуть гнусавил и заискивающе терся о Нюсину спину, поводя дрожащими ноздрями, — я замороженно наблюдала за этой восхитительной прелюдией, — сейчас уже трудно вспомнить, что так влекло и отталкивало одновременно, — острый рыбный запах, — то неуловимо чарующее и страшное, что происходило на кухне в молочные утренние часы, — на плите булькало и шипело, — отставив зад, Красючка сливала остатки пережаренного масла в ведро, — на кухоньку черепашьим шагом входила Бронислава Ильинична, — крохотная подсушенная девушка, — никто не знал, сколько ей лет на самом деле, — брезгливо поджав губы, демонстративно ставила чайник на свою конфорку и доставала галеты.

Появление Брониславы вызывало в Красюках приступ буйного веселья, — наверняка, даже самим себе они не могли

объяснить этого, — превосходства румянца над бледностью, — здоровья над немочью, плоти над бесплотностью...

Особенно восхищал Красючку отставленный мизинчик, — тю, глянь, — Нюся прыскала, впрочем, беззлобно, — пока Бронислава с напряженной спиной ополаскивала заварничек, супруги давились беззвучным хохотом, — ну надо же, мизинчик, надо же...

— Бронислава Ильинична, — Красюк подмигивал супруге и галантно касался острого плечика, — не желаете ли, рыбки — лицо его расползлось блином, — Бронислава вздрагивала и подергивала подбородком, — нет, спасибо, Петр Григорьевич, — я лучше чаю попою.

— Чай, чай, — посмеивалась Красючка и, развернувшись со сковородой в вытянутых руках, внезапно замечала меня, — застывшую в двери, — шо стоишь, — заходи до нас, — или тоже чай?

Оглянувшись на нашу дверь, я проскальзывала в логово Красюков, пропитанное чуждыми запахами, — такими до неприличия явными, пронзительными, — с застеленной переливчатым цветастым покрывалом гигантской кроватью с никелированными шариками, с устрашающим розовым бюстгалтером, свисающим со спинки стула, с многочисленными снимками на стене, — молодых и не очень лиц, — старушек в повязанных плотно под подбородками платочках, — удалого красавца с гармонью, — двух застывших серьезных девушек, — с печальными глазами, — кто это, спрашивала я, — а хто его знае, — оно здесь висело, так я и оставила, пускай висить, — Красючка проворно стелила на стол, — ставилась еще одна тарелка, для гостыи, — на стул подкладывалась расшитая подушечка, — Красюк прикладывался мясистым ртом к рюмке с наливкой, — тягучая жидкость лилась меж его губ, — Нюся придирчиво следила за опустошением моей тарелки, — кушай,

кушай, а то как Бронька будешь, ни рожи ни кожи, — я старательно подъедала, пока Красючка, подперев круглый подбородок ладонью, размягшим бабьм взглядом смотрела на мужа, — Петро... нам бы дивчинку... маленьку... або хлопчика..., — а, Петро?

Осоловевшие глаза Петра останавливались на Нюсиной груди, вольготно раскинувшейся под бумазейным халатом.

— Ну, покушала? — Нюсина ладонь оказывалась на моем плече, — и через минуту я уже стояла в тесном коридорчике с глуповатым остроухим «ведмедиком» в обнимку, — иди, погуляйся, деточка — за стеной уже повизгивали пружины и какая-то маленькая девочка, а не Нюся вовсе, — выводила тоненьким голоском нежные рулады, — ай, ай, — а кто-то — строгий и взрослый — взволнованно вопрошал, — гарно? так гарно?... — и ухал как филин.

— Ты что не ешь? — на жидкий бульончик с прозрачной лапшичкой смотреть было неинтересно, — бабушка с тревогой прикладывала ладонь к моему лбу — ты не заболела, часом? — я вертела головой, отбиваясь от заботливых рук, — сознаться что я ела у Красюков, было равносильно убийству, — бабушка надвигалась на меня с переполненной подрагивающей ложкой...

После обеда наступало время заслуженного досуга, — под сокрушительные звуки симфонической музыки Мечислав — пан Мечислав — так он велел называть себя — страдальчески морщился, возводя незабудковые глаза к потолку, — Великая Польша, моя несчастная загубленная страна... Шопен..., Монюшко..., Падеревский..., Мошковский...

— Слушай, девочка, это великая музыка... — пан Мечислав никогда не называл меня по имени, — впрочем, как и остальных соседей, — галантно застывал, пропуская в уборную, — прошу. прошу. пани.

У трепетной и стыдливой Брониславы это вызывало приступ паники, — она осмеливалась посещать отхожее место, только когда поблизости не оказывалось убийственно вежливого пана Мечислава.

Ходили слухи, что маленький поляк пережил ужасную драму, — много лет назад, и с тех пор жил совершенно один, без друзей и родных, — на стене висел портрет миловидной молодой женщины с покатыми полуобнаженными плечами и нежным овалом лица, — а чуть ниже с маленькой фотокарточки улыбались девочки-двойняшки с туго заплетенными косами.

После прослушивания обязательной программы мы резались в карты, — Мечислав азартно вскрикивал, — жульничал, — томно прикрывал веки сухой ладошкой и по-детски бурно захлебывался обидой и восторгом.

Красюков пан Мечислав откровенно презирал.

Ты опять была там? Пан Мечислав воздевал острый указательный палец кверху и улыбался горестной саркастической улыбкой, — ты опять была ТАМ, девочка, — в голосе его дрожали трагические нотки, — он отворачивался к окошку и становился похож на маленькую нахохлившуюся птицу.

Ну что я могла поделать, когда все мое существо буквально разрывалось между плотским и возвышенным, — между фортепианными раскатами Игнацы Падеревского и хрустом жареной рыбешки в пахучей горнице Красюков?

Пепел красной коровы

Гриша рослый не по годам, с пушком над вздернутой верхней губой и хитровато-печальными глазами. Гриша почти взрослый, и оттого мне, козявке, разрешается виснуть на его руке, болтать глупости и дразниться. Еще мне позволено сидеть с горящими щеками в глубине двора, под прохладным куполом старой акации и листать толстенную книжку с картинками, которую Гриша стащил у своей мамы, Ады Израильевны Рубинчик, решительной полнокровной женщины с брошью на выпуклой груди и насмешливыми как у сына яркими глазами.

Гриша раскрывает книгу в специально заложенных бумажками местах и водит пальцем по желтоватой бумаге. На картинках нарисовано такое, отчего мне становится жарко и стыдно, — передо мной разворачивается печальная история homo sapiens, — с момента зачатия до рождения... и дальше...

За каких-нибудь полчаса я постигаю величайшую из тайн, такую страшную и совсем-совсем не радующую меня.

С нечетких черно-белых фотографий в разных ракурсах — женские тела, некрасивые, чем-то напоминающие черепах, беспомощно распятых на песке, — с тревожными напряженными лицами, с раздвинутыми ногами...

Ерзая под столом коленками, я хихикаю, — какие у них толстые ноги, и животы, и там, внизу, как-то безрадостно-некрасиво, просто ужас.

— Чего смеешься! — и ты такая будешь, — Гриша злорадно, как мне кажется, смотрит на меня, — я? такая? — прикладываю руки к груди и вздыхаю, — нет, быть этого не может, — никогда, я не хочу, не хочу превратиться в чудовище, я не хочу дорасти до такого вот позора.

— Будешь, будешь, — Гриша косит блестящим глазом и крепко держит мою руку, — вся будешь в волосах, толстая, и здесь — будет вот так, — где-то на уровне груди Гриша делает волнообразное движение ладонью.

— Нет, никогда, — онемевшими губами шепчу я, — мне хочется бежать куда-нибудь подальше от этих несчастных голых теток, — я захлопываю проклятую книжку и пытаюсь высвободить застрявшие между перекладинами стола ноги.

— Будешь. будешь. — ближе к вечеру Гришин шепот становится настойчивей и жарче, — я с тревогой ощупываю себя и почти безнадежно вздыхаю, — ох, и угораздило же родиться девочкой, — ну что стоило маме родить вместо меня мальчишку, — и тогда бы никто не посмел.

На следующий день я показываю Грише язык и скучно слоняюсь по коридору, — на улице дождь, а пан Мечислав ушел куда-то с подозрительно сияющим лицом, — в отутюженном костюме, — и такой смешной шляпе, — канотье, — за поворотом скрылась его подпрыгивающая фигурка, а еще через минут пять под дождь выбежала разодетая в пух и прах Бронислава, — осторожно переступая через лужи, по-гусиному вытягивая худую шею и подслеповато помигивая, обеими руками она крепко держит ручку распахнутого черного зонта, кажется, — еще немного, и она взлетит...

На кухне пекутся оладьи, — пахнет фаршированной куриной шейкой и вареной лапшой, — Гришина бабушка, круглолицая, с шумовкой с руке, сует в мою руку истекающий жиром кружок, — она что-то бормочет, как всегда, под нос, — старый болван, совсем спятил.

— Кто? — интересуюсь я скорей из вежливости, чем из любопытства, — всем известно, что Гришин дедушка, Израиль Самуилович, давно сошел с ума, — на улицу он не выходит, только иногда во двор, — растерянно помаргивая крошечными

глазками, долго смотрит в небо, а потом подзывает кого-нибудь из детворы, — и, порывшись в карманах широченных порыжелых штанин, достает слипшийся гостинец, — тянучку или леденец, — в остальное время Гришин дедушка сидит в комнате, и оттуда доносится монотонное бормотание на непонятном языке.

Гришин дедушка всегда читает одну и ту же книгу, тяжелый пыльный том с золотым тиснением на корешке, вот и сейчас, — дверь тихонько приоткрылась и в полоске света показалась его всклокоченная борода.

— Садись, мейделе[1], — строго блеснул он мутными стеклами очков и неожиданно улыбнувшись, больно ущипнул мою щеку, — ай, — вскрикнула я, — садись, глаза его внимательно смотрели на меня, — никакой он не сумашедший, — подумала я, и следующие часа два уже сидела не двигаясь, потому что таких сказок я не слышала ни от кого и никогда.

— Иосиф и его братья, семь сытых лет и семь голодных, семь тучных коров и семь тощих, — время летело быстро, но я сидела, — тихий голос Гришиного дедушки журчал и вливался в мои уши, — говорил он по-русски с ошибками, коверкая слова, но скорей всего, я не замечала этого...

Очнулась я на самом интересном, — пепел красной коровы, — за окном темнело, — неслышно вошла Гришина бабушка, — вытирая руки о фартук, поставила на стол блюдо с оладьями, — пепел красной коровы, — не морочи ребенку голову, Изя, — одного ты уже совсем задурил, — возьмите себе красную корову, у которой нет изъяна, и пусть ее зарежут и сожгут, и пеплом ее, растворенным в воде, пусть будет очищен всякий прикоснувшийся к трупу какого-нибудь человека или к чему-то нечистому. А кто, не очистившись, войдет в Храм, та душа истребится из среды Израиля... — вцепившись пальцами в клеенку, я не сводила ошеломленного взгляда с

поблескивающего выпуклого лба Израиля Самуиловича — глаза его казались огромными, а неряшливая рыжая борода в свете зажженной лампы переливалась огненными кольцами.

* * *

Всю ночь я металась и вскрикивала, — мне снились В летающие красные коровы с бубенчиками, и рыжебородые старцы, отчаянно жестикулирующие и воздевающие худые руки к небесам, и высокие костры, и пыльный горячий ветер пустыни, а еще толстые голые женщины, похожие на гигантских черепах, — распростертые на песке, плачущие низкими голосами — мне отчаянно хотелось помочь им, но я не знала как, и от этого пробуждение мое было тревожным и горьким.

Ляля и Бенджамен

На золотом крыльце сидели...
Царь, Царевич,
Король, Королевич...

Душным августовским вечером я долго стою у окна; наш двор похож на амфитеатр, — кирпично-желтые домишки, наползающие друг на друга, с продавленными кособокими ступеньками, маленькими окнами, распахнутыми в южную ночь, — с ветхими балконами, увешанными пестрым бельем; с мелькающими там и сям ленивыми разомлевшими кошками, — от цветных стеклышек калейдоскопа рябит в глазах, — уже темнеет, а в дом идти не хочется; вот-вот начнется самое интересное, что именно, я и сама толком не пойму, но это ощущение сказочного действия и по сей день не покидает меня, — жаль оказаться не там, и не с теми, жаль упустить момент, и проворонить ту самую минуту, когда случается невосполнимо важное, — сморгнешь, зазеваешься, и момент упущен, — вот и сейчас, вздрогнув, я понимаю, — ОНО уже началось, — ракетой взмывает в небо, и распадается на сиреневые синкопы, — это потом, много позже, я узнаю слово — джаз, и с легкостью буду произносить имена, — чуть сипловатый и одинокий звук зависает над крышами домов... и тянется... так бесконечно-сладко... так неизъяснимо...

Бенджамен отчаянно некрасив, — длинный как жердь, с лошадиным лицом и несуразными руками, веснушчатый и краснокожий, в мешковатых немодных брюках и и вечно невпопад застегнутой рубашке... не помню, когда он впервые появился в нашем дворе, но помню этот звук, сумеречный,

дрожащий, и горбоносый профиль в окошке, и ощущение праздника, — да, вечер, да, август, — да, крупные звезды в южном небе, — да, ничего упоительней я в жизни не слыхала...

* * *

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ